

К 160-летию со дня рождения Н. С. ЛЕСКОВА

Юбилей Николая Семеновича Лескова ныне приходит в обстановке обостренного интереса к творчеству писателя. Переиздаются его книги, впервые в советское время вышел сборник публицистики Н. С. Лескова, появились публикации, о которых в былые годы даже и мечтать было бессмысленно, например, увидел свет очерк М. О. Меньшикова «Художественная проповедь», не издававшийся с 1899 года и дающий глубокий анализ творчества этого русского из русских писателя. К творчеству Лескова вновь обратился и кинематограф, на днях в Доме кино состоялась премьера нового остросовременного фильма «Очарованный странник», созданного режиссером Ириной Плаваской, да и само решение о широком праздновании 160-летия русского писателя принято на уровне международного — в ЮНЕСКО. И все же мы о Лескове знаем непростительно мало, по-прежнему публикуется о нем много того, что вряд ли к Лескову относится, и до сих пор не подготовлена к изданию огромная его переписка, которая напрочь отвергает ут-

верждения, подобные эдаким — «современники не любили этого человека».

О Лескове сохранились яркие воспоминания издательницы А. Н. Пешковой-Толливеровой, критика и публициста М. О. Меньшикова, писательницы Л. И. Веселитской-Микулич, которым довелось, будучи совсем молодыми литераторами, познакомиться с маститым писателем и на себе ощутить всю щедрость и незаурядность его таланта. Выход в свет переписки Лескова и этих воспоминаний во многом открыл бы заново облик писателя, глубоко проникшего в тайны русского характера и сумевшего запечатлеть характернейшие черты России конца XIX века. Ведь до сих пор остаются неизвестными широкому читателю такие произведения Н. С. Лескова, как первая его повесть «Очерки винокуренной промышленности», романы «На ножах» и «Незаметный след», рассказы «Погащее дело», «Ракушанский меламед», «Пустоплясы», да и многие другие, сокрытые от читателя произведения.

Ниже, наряду с воспоминаниями о Лескове сына писателя Андрея, впервые в советское время увидит свет очерк о Лескове М. О. Меньшикова, написанный в день смерти писателя, которую критик воспринял как глубоко личное горе: «1895 год — несчастный для меня год. Большое несчастье — смерть Лескова», — написал он в дневнике.

Огромное значение для развития русской литературы самобытного творчества Лескова отмечали многие выдающиеся русские писатели — Л. Толстой и А. Чехов, М. Горький и К. Федин, который уже с середины 50-х годов нашего века писал:

«Мне кажется, после славы Чехова, облетевшей все страны мира, следующий русский классик XIX века, которого ожидает едва ли не повсеместное признание, будет Лесков...» Возможно, когда издано будет полное собрание сочинений писателя, мы еще станем свидетелями этого.

М. ПОСПЕЛОВ.

«Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе это ни в какую заслугу... Мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его под ноги. Я С НАРОДОМ БЫЛ СВОЙ ЧЕЛОВЕК.»

Воспоминания сына

Царство мысли

Из писанного о Лескове в послереволюционное время самой яркой и проникновенной является вводная статья к изданию его произведений (1923 г.), в которой Горький называет его «волшебником слова», «непопыхатым почти до конца дней», «достойным встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров, «немногим уступающим» таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широкою охвата явлений жизни, глубинного понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великого русского языка он, нередко, превышает названных предшественников и соратников своих».

«Мастеровитые» очерки — дело писательское. Мое — дать то, что, «тлея на убежав», может обогатить познание понимания Лескова.

...В некогда дремучих лесах, в восьмидесяти пяти верстах от губернского города Орла и тридцати пяти от уездного Карачева, на скромной речке Колохве, текущей в не более знаменитую Навлю, терялось в полной безвестности ничем не замечательное село Лески.

В селе этом, из поколения в поколение, долгие годы священствовали представители семьи, пользовавшейся неполюхой славой. По месту стойкого их сидения здесь сложилось и прозвище, по-последнейшему — фамилия: откуда, мол? Да — из Лесков!

Многие годы спустя отец писал мне на Украину: «Влечение твое к деревне и особенно малороссийской — вполне разделяю. Это была мечта всей моей жизни, для меня, однако, не удавшаяся, но не знаю — полезна ли была бы деревня для наших характеров и натур, склонных к сосредоточенности и мизантропии. Дед твой, на которого похож я и ты во всех основных чертах, кроме видоизменений в духе времени и окружающих условий, — был на счету людей высокого и светлого ума, пока кипел в житейском котле, а уединясь в деревне — опустился и заглох».

Мать писателя, Мария Петровна, происходила из рода Алферьевых, служивших на средние-значительных должностях в московском сенате и других учреждениях, была женщиной большой воли, трезвого ума, практически лихих навыков, чуждая сентиментальности и филантропии, властного нрава. По определению сына-писателя — «характера скорого и нетерпеливого».

Отношения с первенцем Николаем Семеновичем, по мнению многих, всех более переярившим ее черты, не были теплы. Данных к предположению в ней смолоду красоты я лично, в старые ее годы, не улавливал. Не слышал ни от кого и о влюбленности ее в «дремучего семинариста» Семени Дмитриевича, как о том писал раз их сын — беллетрист. Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцатипятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдавалась заботам о муже, детях, конечно — как умела, — пожалуй,

ратурных критиков. Совершенное по ребяческому легкомыслию, оказалось невыправимым.

Всю жизнь, кроме самых последних лет, случайно оброненный кем-нибудь в разговоре вопрос: «А бы сами, Николай Семенович, ведь тоже Киевского университета?» был нестерпим и оставался или без прямого ответа или как бы нерасслышанным. Нарочито невняты в этой области и некоторые автобиографические данные. На вопросы — откуда у него такое знание страны, такое неискаемое богатство наблюдений и впечатлений, Лесков чуть откидывал голову и, как бы озирая глубь минувшего, отвечал, слегка постукивая концами пальцев лоб: «Все из этого сундука... За три года моих разъездов по России в него складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не наберешь на Невском и в петербургских канцеляриях».

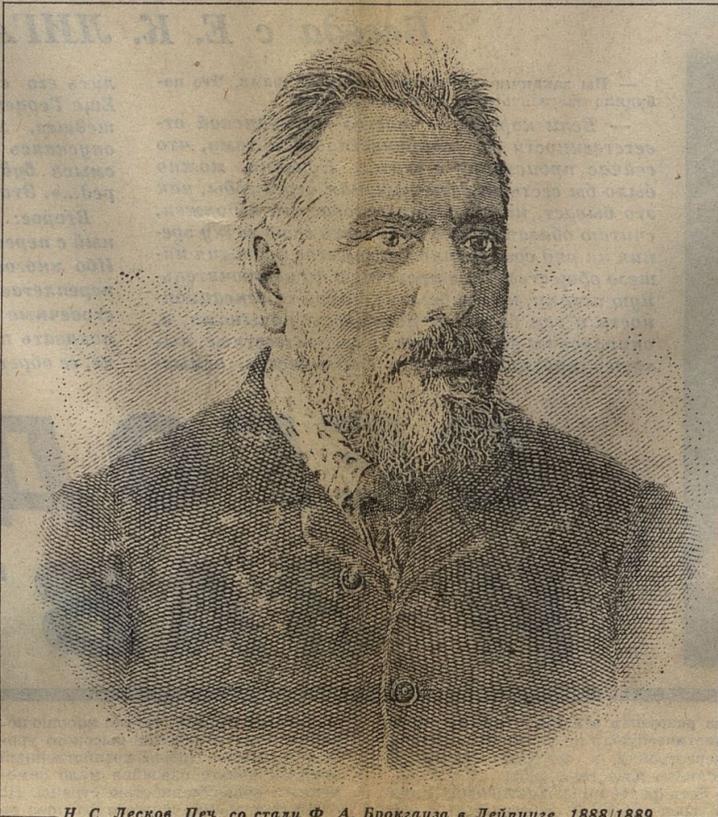
На эту тему он не только охотно говорил, но и писал: «Прожив изрядное количество лет и много перечитав и много переглядев во всех концах России, я порою чувствую себя, как «Микула Селянинович», которого «тяготила тяга» знания родной земли, и нет тогда терпения сносить в молчании то, что подчас гордят пишущие люди, оглядывающие Русь не с извошчьего «передка» (как мы езжали за 3 целковых из Орла в Киев), а «летком-летя», из вагона экстренного поезда. Все у них мимолетно, — и наблюдения, и опыты, и заметки...»

Неладом впоследствии он уверенно писал: «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе это ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе... Мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек...»

Говоря о Тургеневе, Лесков любил отмечать в нем «проповеднический и благоустроенный ум». ...В Толстом он опасливо видит: в молодом «своеправную непосредственность», а в старом — «страстность и гневливость», побеждаемые огромною над собою работой.

У самого Лескова, как и у многих писателей менее счастливого общественного и материального положения, дело обстояло много сложнее.

«...Мои м.сл. всегда заскакивают вперед, дальше того пункта, на котором многие успокаиваются и живут счастливо. Я, однако, люблю девиз Гейне «лучше быть несчастным человеком, чем самолюбивой свиньей»... Я не могу ни притворяться, ни носить маски, ни лицемерить, ни сдерживать порывов моих чувств, которые во мне никогда не теплятся, а всегда — дурные и хорошие — кипят и бьют через край души. Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я все буду мною самим... Я действительно бываю пылок и, может быть, излишне впечатлителен, но это и дурно и хорошо: я



Н. С. Лесков. Печ. со стали Ф. А. Брокгауза в Лейпциге, 1888/1889.

Николай ЛЕСКОВ

Монашеские острова

Вообще отзывы о Балааме очень разнообразные: одни восторженно хвалят природу острова, картинность его видов и христианскую чистоту нравов его обитателей; другие милостиво только к красотам природы, а к жизни балаамских отшельников относятся недоброжелательно.

И вот я, дождавшись отправления балаамского парохода из Петербурга, предпринял эту пугину...

Что же за причина, что он пошел в монастырь?

Собеседник мой пожал плечами.

— Они волей очень слабы... Да, что же? И слава Богу, что их здесь Господь приотил. В мире, знаете, как порою тягостно, а впрочем я о нем вам не буду говорить, потому что сам этой несчастной страстью иногда страдаю, так, знаете, что не годится...

— Извините, но о какой вы это несчастной страсти говорите?

— Я постыдную слабость имею: заповем пью...

— А вы бы поlechились: ведь как-то лечат от этого.

— Лечился я...

— Не помогает?

— Как же оно мне может помочь,

теплым, теперь более всего показались жалким: он как-то беспомощно удирал себя безлистной веточкой, которая была у него в левой руке, а растопыренными пальцами правой выводил что-то в воздухе, точно решал: «быть или не быть?» — еще потерпеть или написать? Мне показалось, что и свой картуз он уже надел не так, как следует, и что спина его длиннополого коричневого сюртука замарана мелом не от того, что он сейчас стоял вместе со мною, прислонясь к церковной стене, а оттого, что он принадлежит к печальному роду жалких избраников про которых сложено поверье, что они «держимы бесом пьянства».

«Вот плоды откровенности и чистосердечия пред людьми! — подумал я себе: — не открой мне этот человек с такою искренностью своего недуга, разве бы я имел на его счет такие недостойные мысли, а между тем теперь я знаю, что он страдает и борется с отвратительнейшим, унижающим человека недугом, а у меня, против воли моей, зародилось к нему какое-то гадливое чувство? Уж не «враги ли это замутили и меня в этом святом месте?»

Настало утро, и вот уже встала

Так любо, что отрываться нельзя. Опять уснул — и тут-то и привиделся мне этот непонятный сон, который я вам рассказывал, заключил он, обращаясь к чиновнику.

Тот курил и молча глядел через нас на море.

Я попросил рассказчика поведать мне его «непонятный сон» и услышал следующее:

— Причудилось мне, будто я де-лаю, вот по ихнему по заказу, серебряный оплечик на икону Ильи Пророка, что и действительно так было, потому что я им отдельяю по их рисунку такую старинную икону, и сам я будто бы штампов по серебру все бью, а сам рассматриваю, как это хорошо пророк по-старинному написан. Тут его «в младенчестве ангели огнем питают», тут он «Исавель и Ахав за прелюбодейство съидит», дальше волос на жертву стелит, и тут же и пророков Вааловых режет, а пророчий стоял и ждал, как он их ножичком чикнет — словом, все вокруг его история изображена, как нынче ее уже не пишут, а посредине сам пророк сидит под кушею и летяг к нему два ворона, сами черные, а

— Ну, теперь, вкусив во славу Божию, пойду да хорошенько во славу же Божию выплывлю.

— Исцелен! — проговорил ко мне вслед уходящему контрольный чиновник и улыбнулся.

— Вы вправду так думаете?

— Да. А что? Вам не верится разве?

— Я, говорю, право не знаю, что вам на это сказать...

— Что сказать? Да вот что скажете: как часто всем нам доводится слышать, как наши сентиментальные друзья народа трубят, что-де в народе вера пропала!

— Ну, теперь, вкусив во славу Божию, пойду да хорошенько во славу же Божию выплывлю.

— Исцелен! — проговорил ко мне вслед уходящему контрольный чиновник и улыбнулся.

— Вы вправду так думаете?

— Да. А что? Вам не верится разве?

— Я, говорю, право не знаю, что вам на это сказать...

— Что сказать? Да вот что скажете: как часто всем нам доводится слышать, как наши сентиментальные друзья народа трубят, что-де в народе вера пропала!

— И я, говорю, того же мнения.

— Да, разумеется! Любопытно бы, если бы эти попочетители о благе народа высказались, чего им хочется от простодушного? Катекизических бесед, что ли? Или методистских проповедей, и или гернгутерской лицемерности? Чудаки, право, чудаки! О русском человеке хлопчут, а русского человека не знают. Тут, видите, вера ПРИРОЖДЕННАЯ, и живет она у человека по-домашнему, за пазухой! Вот он и с пророком побеседовал, и все тут!

Свидетельство современника

Варварства он не любил

...Я знаю, что имя Лескова с давних пор окутано в литературе тенями ненависти к нему, клеветы и злословия: на это имя была наложена своего рода анафема, снятая лишь в последнее десятилетие. Лескова считали одним из самых лютых бойцов реакции (за его романы «Некуда», «На ножах» и пр.), и действительно, в качестве обличителя он проявлял не столько тонкую, сколько сокрушительную силу таланта. Зарисованные им типы нигилизма чудовищны по своей низости и вселяют отвращение. До точности ли верен был Лесков натуре, отражая жизнь, я не берусь судить: я не помню 60-х и 70-х годов, но думаю, что «Собакевичи и Ноздревы нигилизма» (как метко выразился о них Герцен) действительно существовали, как существуют они и доселе во всех партиях русского общества, составляя для всех партий сразу, от которой они гибнут. Лесков, может быть, потому был «на ножах» с циниками либеральной идеи, что более других чувствовал осквернение ими этой идеи, существо которой — гуманность и нравственная чистота; за нее именно, за эту чистоту скорбел он и возмущался со всею пылкостью своего страстного характера. Надо было иметь огромное нравственное мужество, чтобы выступить против варваров прогресса в годы, когда они казались героями. Лесков знал, что он рискует литературною карьерой, и пренебрег этим, он продолжал бороться и тогда, когда имя его было затоптано в грязь и когда почти все двери тогдашних редакций закрывались для него одна за другой... Но и после нашествия варваров в литературе осталась память о Лескове как о каком-то отреченном, и эта стихия отчуждения тягостно отразилась на работе его крупного таланта: дарование мелкое, конечно, совсем не вынесло бы подобного гнета. То, что оставил Лесков, далеко не есть то, что он мог бы дать при благоприятных условиях, но все же он успел дать двенадцать огромных томов художественной прозы, представляющей совершенно своеобразный, причудливый, крайне яркий мир картин из русской жизни. Чтобы ни писал Лесков, он всегда писал талантливо и всегда интересно, а некоторые его вещи достойны войти в классическую литературу («Соборяне», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «На краю света», «Юдоль» и др.). По оригинальности и широте таланта Лескова можно сравнивать только с Щедриным и Достоевским. К сожалению, критика еще едва коснулась Лескова, и пройдет немало времени, прежде чем будет установлено его значение.

Я не помню «боевой» деятельности Лескова; я знал его последние два года, т. е. таким, каким он сделался к концу жизни. И это был человек отнюдь не торжествующего теперь на-

строения, напротив! Я не знал другого писателя, который так изнемогал бы душою, который болел бы так искриво и даже страстно при каждом проявлении дикости в русском обществе. Варварства он не любил ни в чем, ни даже в самых светлых по источнику движениях. Примкнув всем сердцем к учению Л. Н. Толстого, он пытался к великому писателю глубокое уважение, но оставался и здесь независимым и требовательным, как и в эпоху либерализма. Он не любил ни в чем сектантства с его узкостью взглядов, с его отречением от живого личного творчества в деле мысли, его идеолопоклонством. Идеалы Лескова, выразившиеся в его положительных типах, безупречны: выше всего он ставил в человеке благородство и великодушие, отречение от суесть и кроткое служение людям. И это проходит в его произведениях через всю 35-летнюю деятельность, завершенную в последней декабрьской книжке «Русской мысли» святыми типами Праши и Авеля (см. рассказ «Дама и фефела»).

Недостатки Лескова... Они у него были, но не мне говорить о них. Мне хочется сказать только, что у него были достоинства, заставлявшие забывать слабости слишком страстного темперамента, а достоинства высокие. Он был поистине живой человек и горел жизнью до последнего вздоха. Когда бывало ни зайдешь к нему в его маленькую уютную квартиру на Фурштатской, всегда застанешь его чем-нибудь взволнованным, расстроенным или восхищенным: каждая низость в общественной жизни делала его больным на несколько дней, и он брюзжал и клял ее, — зато и каждый признак свежей, чистой жизни в литературе, политике, обществе приводил его в умиленье: он радовался, как ребенок, и «носился», как говорится, с хорошою новостью, спеша всем сообщить ее и раславить. К молодым писателям, обнаруживающим дарование, он пытался просто отеческую нежность: он первый писал им письма, приглашал их к себе, хвалил их и часто захваливал до преувеличения... Для друзей он был верный и честный друг, пока не разочаровывался в них. К своим литературным сверстникам-старикам он относился без всякой зависти: напротив, он их расхваливал выше меры, например, г. Боборыкина. О собственном таланте он избегал говорить или называл его небольшим, и это была искренняя скромность. За что негодовал он на писателей, и старых, и молодых, это за недостаток мужества, за стремление к наживе, за поддельные себя ко вкусам рынка, и в этом он был несговорчив, неумолим. Как кровный русский человек, сын нездорового, веками растрелного общества, Лесков не чужд был крайности в характере, но основная, подлинная его природа была благородна.

Из неопубликованного

из писанного о Лескове в послевоенное время самой яркой и проникновенной является вводная статья к изданию его произведений (1923 г.), в которой Горький называет его «волшебником слова», «непопулярным почти до конца дней», «достоинством встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров, «немногим уступающим» таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтой охвата явлений жизни, глубиной понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великого русского языка он, нередко, превышает названных предшественников и соратников своих».

«Мастеровитые» очерки — дело писателяское. Мое — дать то, что, «тлена убежав», может облегчить познание понимания Лескова.

...В некогда дремучих лесах, в восьмидесяти пяти верстах от губернского города Орла и тридцати пяти от уездного Карачева, на скромной речке Коложе, текущей в не более знаменитую Навлю, теряясь в полной безвестности ничем не замечательное село Лески.

В селе этом, из поколения в поколение, долгие годы священствовали представители семьи, пользовавшейся неплохой славой. По месту стойкого их сидения здесь сложилось и прозвище, по-позднейшему — фамилия: откуда, мол? Да — из Лесков!

Многие годы спустя отец писал мне на Украину: «Влечение твоё к деревне и особенно малороссийской — вполне разделяю. Это была мечта всякой моей жизни, для меня, однако, не удавшаяся, но не знаю — полезна ли была бы деревня для наших характеров и натур, склонных к сосредоточенности и мизантропии. Дед твой, на которого похож я и ты во всех основных чертах, кроме видоизменений в духе времени и окружающих условий, — был на счету людей высокого и светлого ума, пока кипел в житейском котле, а уединясь в деревне — опустился и заглох».

Мать писателя, Мария Петровна, происходила из рода Алферьевых, служивших на средне-значительных должностях в московском сенате и других учреждениях, была женщиной большой воли, тревожного ума, практически всех навыков, «ужидя сентиментальности и филантропии, властного нрава. По определению сына-писателя — «характера скорого и нетерпеливого».

Отношения с первенцем Николаем Семеновичем, по мнению многих, всех более перенявшим ее черты, не были теплы. Данных к предположению в ней смелоду красоты я лично, в старые ее годы, не улавливал. Не слышал ни от кого и о влюбленности ее в «дремучего семинариста» Семена Дмитриевича, как о том писал раз их сын — беллетрист. Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцать пятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдаваясь заботам о муже, детях, конечно — как умела, — пожалуй, так сказать, «с ухабами и сухою колотью».

В числе лиц, близких Лескову в ранние годы его жизни, должна быть достойно помнана нянька его — Анна Степановна Каландина.

Передо мной фотоснимок нехитрого рисунка с полувывешенным фаскимиле моего отца: «Господский дом в селе Горохове, Орловской губернии, в этом доме родился Николай Семенович Лесков и тут же проведено его детство».

Когда кто-нибудь из поздних знакомцев, вглядываясь в ранние портреты писателя, говорил: «Однако Николай Семенович, какой же вы, должно быть, были... в молодости...» «Ууу!.. Аггел!.. аггел!..» — быстро перебивая Лескова, нервно поводя плечами... И так, от ангела до ангела! Что-то фаустовское: «Ах, две души живут в большой груди моей... друг другу чуждые, .. жаждут разделиться».

...Невольно возникает вопрос: какие причины побудили Лескова оставить гимназию? Кажется их надо искать в равнодушии мальчика к пытливым и живым темпераментом к мертвенно-схоластической «учености» этой школы; еще больше, может быть, в бесконтрольной свободе личной жизни на «ученической квартире», в ранних соблазнах усаленных «задов» и «угородцев», а также и в неодолимости страсти к чтению книг... Где же тут было зубрить гимназическую сущь? Сторицею покрывает он потом этот мучительный дипломный недочет огромною начитанностью, и все-таки отсутствие установленного патента вредит ему постоянно, везде и во всем. Немало щекопливого создавалось, например, в его положении «неученого» члена «Ученого комитета министерства народного просвещения». Не обошлось и без чувствительных уколлов самолюбия со стороны «товарищей» и еще чаще лите-

ратурных критиков. Совершенно по ребяческому легкомыслию, оказался несправильным.

Всю жизнь, кроме самых последних лет, случайно оброненный кем-нибудь в разговоре вопрос: «А вы сами, Николай Семенович, ведь тоже Киевского университета?» был нестерпим и оставался или без прямого ответа или как бы нерасслышанным. Нарочито невнятен в этой области и некоторые автобиографические данные. На вопросы — откуда у него такое знание страны, такое неиссякаемое богатство наблюдений и впечатлений, Лесков чуть откидывая голову и, как бы озирая глубь минувшего, отвечал, слегка постукивая концами пальцев лоб: «Все из этого сундука... За три года моих разъездов по России в него складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не наберешь на Невском и в петербургских канцеляриях».

На эту тему он не только охотно говорил, но и писал: «Прожив изрядное количество лет и много перечитав и много переглядев во всех концах России, я порою чувствую себя, как «Микула Селянинович», которого «тяготила тяга» знания родной земли, и нет тогда терпения сносить в молчании то, что подчас горючат пишущие люди, оглядывающиеся Русь не с извозничьего «передка» (как мы ездили за 3 целковых из Орла в Киев), а «летком-летя», из вагона экстренного поезда. Все у них мимолетно, — и наблюдения, и опыты, и заметки...»

Недаром впоследствии он уверенно писал: «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе это ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе... Мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был своей человек...»

Говоря о Тургеневе, Лесков любил отмечать в нем «просвещенный и благоустроенный ум». ...В Толстом он опасливо видит: в молодом «своерасправную непосредственность», а в старом — «страстность и гневливость» побеждаемые огромною над собою работой.

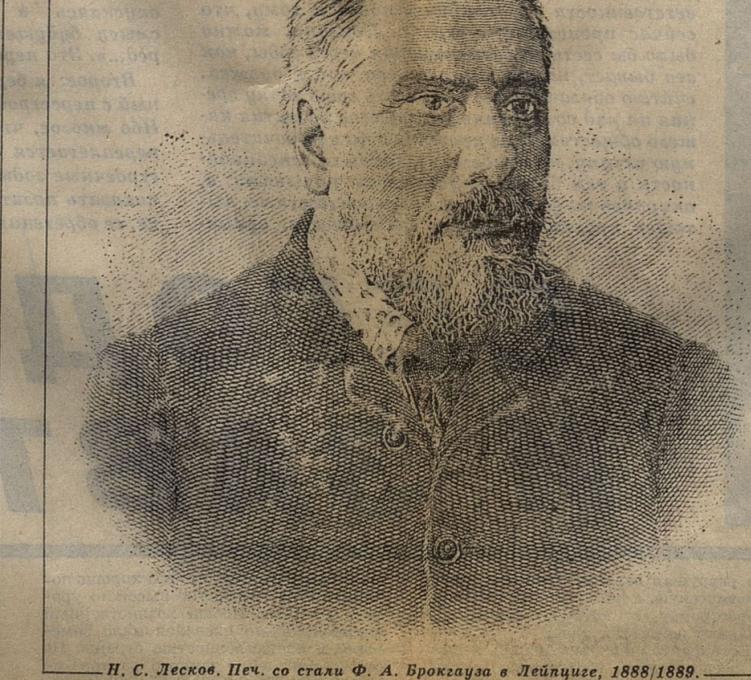
У самого Лескова, как и у многих писателей менее счастливого общественного и материального положения, дело обстояло много сложнее.

«...Мои мысли всегда заскакивают вперед, дальше того пункта, на котором многие успокаиваются и живут счастливо. Я, однако, люблю девиз Гейне «лучше быть несчастным человеком, чем самолюбивой свиньей». Я не могу ни притворяться, ни носить маски, ни лицемерить, ни сдерживать порывов моих чувств, которые во мне никогда не теплятся, а всегда — дурные и хорошие — кипят и бьют через края души. Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я все буду мною самим... Я действительно бываю пылок и, может быть, излишне впечатлителен, но это и дурно и хорошо: я схватываю иногда в характере явления то, чего более спокойные люди с «медлительным сердцем» не ощущают и даже отрицают».

На людях, в обществе, Лесков бывал всегда центральной фигурой. С большим, по сравнению со многими своими сверстниками, опозданием приобщившись литературе, он с первых же лет своего писательства отдался «служению ей» со всей силой и страстностью своего темперамента. Для него решительно ничто не могло иметь равного с литературой значения и цены. Все было ниже ее, «ибо в литературе есть царство мысли».

«Тем-то и дорога нам литература, — писал он в последние годы жизни, — что она живет идеями... Такая она или ская, но живет она все-таки ежедневно заплатами о материях важных и не вознаграждает она себя за эту службу ни пенсиями, ни чинами, ни арендами. Бескорыстное это служение истине! Это и отличает писателя от всех прочих профессионалов. Как ни плох самый последний писатель, он всю жизнь пишет о нравственности, а не делает деньги. Талантливый исправляет людей убеждением, чем он и дорожит каждому мыслящему человеку». «Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказывать все то, что я считаю за истину и за благо... Я совершенно не понимаю принципа «искусства для искусства»: нет, искусство должно приносить пользу, — тогда только оно и имеет определенный смысл. Точно так же и в литературе: раз при помощи ее нельзя служить истине и добру, нечего и писать, надо бросить это зане!».

И именн. так: всегда и всех, успешно или тщетно, Лесков стремился «поис-тить» к вышке всего возвышенного сердцу литературе. «к солнцу» «к царству мысли!»



Н. С. Лесков. Печ. со стали Ф. А. Брокгауза в Лейпциге, 1888/1889.

Николай ЛЕСКОВ

Монашеские острова

Вообще отзывы о Балааме очень разнообразные: одни восторженно хвалят природу острова, картинность его видов и христианскую чистоту нравов его обитателей; другие милостиво выводят что-то в воздухе, точно решая: «быть или не быть?» — еще потерпеть или написать? Мне показалось, что и свой картуз он уже надел не так, как следует, и что спина его длиннополого коричневого сюртука замарана мелом не от того, что он сейчас стоял вместе со мною, прислонясь к церковной стене, а оттого, что он принадлежит к печальному роду жалких избранных про которых сложено поверье, что они «одержимы бесом пьянства».

И вот я, дождавшись отправления балаамского парохода из Петербурга, предпринял эту путину...

Что же за причина, что он пошел в монастырь?

Собеседник мой пожал плечами. — Они волей очень слабы... Да, что же? И слава Богу, что их здесь Господь приютит. В мире, знаете, как порой тягостно, а впрочем я о нем вам не буду говорить, потому что сам этой несчастной страстью иногда страдаю, так, знаете, что не годится...

— Извините, но о какой вы это несчастной страсти говорите?

— Я постыдную слабость имею: запоем пью-с...

— А вы бы полегчили: ведь как-то лечат от этого.

— Лечился я-с...

— Не помогает?

— Как же оно мне может помочь, это лечение, когда при этом надо волю иметь, чтобы себя воздержат, а у меня ее нет?

— Остаётся одному Богу молиться, да у него просить.

— Помогите вам Бог.

— Покорно вас благодарю. Я и то, как меня начнет мутить, сейчас же скрываюсь и к Божьей милости прибегаю.

— И что же, облегчает вас молитва?

— Да она облегчает-с, да все на время, — вот все равно, как если у кого зубы болят да на минуту отпустят... Полегчает, а потом...

— А то вы это весь день мучились?

— Ужасно! Да ведь не один этот день, а я уже пять дней и пять ночей, милостивый государь, мучаюсь. Я не сплю-с, и все это как враг какой из ума нейдет...

Тьфу! Ведь вы, небось, не поверите, — продолжал он, — вдруг внезапно оживившись я сюда уехал никому дома не сказавшись...

— Так о вас, верно, теперь домашние беспокоятся и вас ищут. — Наверно беспокоятся, потому что у меня дети и жена... Впрочем она догадывается, потому что я уже этак не в первый раз пропадаю... Да и что же делаете: ведь не допустить же в самом деле себя до того, чтобы в безобразном виде пред детьми, показаться, а опять ведь я и хозяин: у меня серебряная мастерская и три подмастерья есть, и ученики... Ходил-ходил по Петербургу, нет облегченья! А тут еще на каждом шагу эти надписи, это вот он, мол, яд-то этот для тебя! Вот оно! Только зайди и выпей, а выпьешь и... того... и загравируешь, пока в часть попадешь... Срам-с!

Он поднял картуз и, пожав молистой рукой позаднюю мою руку медленными и как бы ленивыми шагами побрел к воротам.

Я смотрел ему вслед, и этот человек казавшийся мне во все время пути таким скромным, толковым и рассуди-

тельным, теперь более всего показался жалким: он как-то беспомощно ударил себя безлестно веточкой, которая была у него в левой руке, а растопыренными пальцами правой выводит что-то в воздухе, точно решая: «быть или не быть?» — еще потерпеть или написать? Мне показалось, что и свой картуз он уже надел не так, как следует, и что спина его длиннополого коричневого сюртука замарана мелом не от того, что он сейчас стоял вместе со мною, прислонясь к церковной стене, а оттого, что он принадлежит к печальному роду жалких избранных про которых сложено поверье, что они «одержимы бесом пьянства».

— Вот плоды откровенности и чистосердечия пред людьми! — подумал я себе: — не открыл мне этот человек с такою искренностью своего недуга, разве бы я имел на его счет такие недостойные мысли, а между тем теперь я знаю, что он страдает и борется с отвратительнейшим, унижающим человека недугом, а у меня, против воли моей, зародилось к нему какое-то гадливое чувство? Уж не «враг» ли это замутит и меня в этом святом месте?..

Настало утро, и вот уже вторая встреча с серебряником.

— Прошло у вас это? Да?

— Он молча кивнул головою, благодарственно три раза перекрестился и, вздохнув, молвил:

— Отвязался враг проклятый. А уж насилу же отвязался. Вчера, если бы не стыд, так бы и упал сверху на буфет; насилу на бережок зашел.

— Там и прошло?

— Да и как удивительно: сначала я все ходил, черного песочку искал, чтобы, знаете, чем себя хоть озаботить. И пошел, набрал в полочку этого песку и сел и прерогорко слезами заплакал. Держу песок, а сам в него плачу и с слезами своими смешиваю да думаю: что же это я уже, совсем как сумасшедший, чем занимаюсь? А вокруг вином вот так и пахнет, так и пахнет... Господи!.. взмолился я в уме своем: — за что же на меня такое несчастье, что слабый я человек и могу легко придти всем в посмеяние! Дома мне тяжело, на людях тяжело и, наконец, всего того, близ храма Твоего стало тягостно. Куда же я от врага этого спрячусь и куда я побегу?.. И вдруг меня обуял плач, сердечный плач, и во всей утробе моей точно ноем-зануло: и я обернулся на море и возговорил: «Господи! Не за то ли это, что я, трудящийся и работая, иной раз помышляю, что я не подлец какой-нибудь, а честный человек, и наблюдаю свою совесть? Не даешь ли Тебя без меры осыпавшийся, имел себе в этом позорную скорбь? В таком случае будь намо мною святая тлуща Твоя!» Да с этим пал на песок лицом и... Только вот и помню, что теперь щеку немножко ломит, — верно от сырости, — а то спал, как убитый. Проснулся, слышу зvon: — к ранней звонит, — и не поднимаю: сырость, видно, насыкзавь меня проникли, и силы нет. А тут вдруг стало солнышко пригревать. С ног начало и все выше восходит и выше греет...

Так любо, что отравиться нельзя. Опять уснул — и тут-то и привиделся мне этот непонятный сон, который я вам рассказывал, заклячил он, обращаясь к чиновнику.

Тот курил и молча глядел через нас на море.

Я попросил рассказчика поведать мне его «непонятный сон» и услышал следующее:

— Причудилось мне, будто я делаю, вот по ихнему по заказу, серебряный оплечик на икону Ильи Пророка, что и действительно так было, потому что я им отелываю по их рисунку такую старинную икону, и сам я будто бы штампом по серебру все быю, а сам рассматриваю, как это хорошо пророк по-старинному написан. Тут его «в младенчестве ангели огнем питают», тут он «Иезавель и Ахав за прелюбодейство стыдят», дальше волов на жертву колет; и тут же и пророков Вааловых режет, а пророки стоят и ждут, как он их ножиком чикнет — словом, все вокруг его история изображена, как нынче ее уже не пишут, а посередине сам пророк сидит под кущей и летят к нему два ворона, сами черные, а во рту красное мясо несут... И я все думаю: как же это его ангели кормили огнем, и он вкушал и не опалился, хотя нигде про то в Писании не сказано, а только на иконах пишется. И думаю: где справедливее: в книгах или в иконе? А сам все стук да стук по серебру; и все углубляюсь и вижу, что пророк сидит в Хориве, и вспоминаю далее, как было: вот он сидит, а перед ним идет буря. И пророк сидит и бури не боится, потому что он знает, что не в бури, не в вихре Господь; колеблетса земля — пророк и земля не кланяется, ибо он знает, что не в трусе Господь; пробежал мимо страшный огонь, а пророк и на то не внял, не страшен ему огонь, ибо ему известно, что не в огне Господь, и вот пронеслось ТИХОЕ ДЫХАНИЕ, и пророк встрепнулса, ибо враз уразумел, что Он здесь-то и есть Господь в тишине, и закрыл Илия лицо своим плащом и простерся на землю, и как будто это как раз возле меня... А я не знаю уже, как дерзко осмелел и громко воззвал: «Господи, коснися же сею тишиною и меня, раба ТВОЕГО, и исцели!» И тут проснулся и вижу перело мною вот они... этот «послудин Иван Николаевич (они мой старый знакомец), и стоит они надо мною, а с меня струит пот и в голове так легко и здорово. Они говорят: «пойдем — уже обедня отошла и на пароходе свистят», а я словно помешанный, но только чувствую, что мне очень легко, и говорю: «Какой я сейчас, сударь, непонятный сон видел!»... «Я вам сейчас расскажу, но только вы мне прежде скажите: где вы взяли тот образ Ильи Пророка, что принесли оплечик делать?» Иван Николаевич говорит: «Что, или тебе образ нравится?» А я отвечаю: «Он мне сейчас вот как хорошо привиделся. И вот мне с тех пор легко и прекрасно: словно на век от этого зла освободился. С этим он поднялся с места... и, помолясь на Восток, сказал:

— Ну, теперь, вкусив во славу Божию, пойду да хорошенько во славу же Божью выплывлюсь.

— Исцелен! — проговорил ко мне вслед уходящему контрольный чиновник и улыбнулся.

— Вы вправду так думаете?

— Да. А что? Вам не верится разве?

— Я, говорю, право не знаю, что вам на это сказать...

— Что сказать? Да вот что скажите: как часто всем нам доводится слышать, как наши сентиментальные друзья народа трубят, что-де в народе вера пропала!

— И я, говорю, того же мнения.

— Да, разумеется-с! Любопытно бы, если бы эти попенители о благе народа высказались, чего им хочется от престолюдина? Катехизических бесед, что ли? Или методистских проповедей, или гергутерской лицемерности? Чудаки, право, чудак! О русском человеке хлопочут, а русского человека не знают. Тут, видите, вера ПРИРОЖДЕННАЯ, и живет она у человека по-домашнему, за пазушкой! Вот он и с пророком побеседовал, и во «славу Божию поел», и во имя той же «славы» спать пошел. Он где не оступится, все Бога прославляет, а Бог сам сказал, что он прославит прославляющих Его. Вот они и явились оба в одной цепи и, так сказать, в круговой друг за друга поруче. «Фамилярно», — скажете. Оно так, а что же делать, когда у нас даже и на этот счет просто. Да, там кто бы что ни говорил, а мы народ привилегированный.

— В каком отношении?

— Да вот хоть бы в этом самом: верим, когда одни заботятся, чтобы мы не верили, а другие, не веря сами, пугают других народным безверием. А Бог нас все милует, все милует и, поверьте, наперекор всем когда-нибудь и совсем помилует.

— Хотелось бы верить.

— Да и нельзя не верить: поверьте (ОПЯТЬ ПОВЕРЬТЕ) — кому как нам, не на кого надеяться, тому прямой помощник Бог, и слава Ему, что он живет у нашего человека не в далеком отвлечении, а в простоте за пазушкой; и греет, и лелеет, и даже, может быть, от пьянства исцелит, и на ум наведет.

— Хотите вы этому верить?

— С величайшей охотой.

Ну и прекрасно: как верится, так и будет. Перед нами стал вырисовываться Балаам...

Боже мой! Боже мой! Что мы за необыкновенный народ! И кто, какой чужеземец может нас знать и понимать? Куда стремились, куда плывешь ты, о, святая Родина, на своем утлом корабле со своими пьяными матросами? Как варит твой желудок эту смесь гороха с капустой, богомолья с пьянством, спиритских бредней с самомнением? О крепись, моя Родина! Крепись — ты необходима: кроме тебя, этим всяк поперхнется.

Тексты даются в сокращении.